

Павел Сутин

АПОСТОЛ,

или Памяти Савла

Серия «Самое время!»

Христианство без Христа, офицер тайной службы, которому суждено предстать апостолом Павлом, экономическое и политическое обоснование самого влиятельного религиозного канона на планете — в оригинальном историческом детективе, продолжающем традицию Булгакова, Фейхтвангера и Умберто Эко.

Павел Сутин

апостол, или памяти савла

роман



от автора

Первое — об использовании названия, звучавшего прежде. Книга с названием «Памяти Савла» уже издавалась десять лет тому назад. Это была беспомощная и вторичная книга (я называю тот текст «книгой» только потому, что он был в итоге исполнен типографским способом). Ее издал Владимир Панченко исключительно из доброго ко мне отношения. Настоящая книга имеет мало общего с вышеупомянутой. Второе — о плагиате (обвинения вероятны). Однажды я прочел остроумную статью «Кто убил Иисуса Христа?» — ее содержание почти полностью приводится в письме Луция Кассия Лонгина к Сексту Афранию Бурру. Та статья (она указана в разделе «Библиография») побудила меня вновь обратиться к опробованному сюжету.

Третье — о развязной интерпретации. Эта книга ни в коей мере не претендует на историческую реконструкцию. Исторический роман я считаю самым трудным и интересным из всех *литератур*, и не посягаю на этот жанр. Вольное использование нынешней терминологии применительно к событиям первого века новой эры, таким образом, должно быть мне извинено.

Выражаю глубокую признательность Ефиму Наумовичу Улицкому, знатоку иудаики, библиотекарю и архивариусу Московской синагоги, что в Большом Спасоглинищевском переулке. Ефим Улицкий дружелюбнейше помогал мне литературой и экспертизой. Никогда не забуду его великодушные слова: «Ах, Павел, резвитесь, сколько вашей душе будет угодно. Явных несообразностей я в этом тексте не нашел. А что до деталей... Кто там помнит, как оно было на самом деле?»

*...А Савл терзал церковь,
входя в дома, и, влача
мужчин и женщин,
отдавал в темницу...*

Деяния, Глава 8, стих 3

*Потные, мордатые евреи,
Шайка проходимцев и ворья,
Всякие Иоанны и Матфеи
Наплетут с три короба вранья!..*

«Клятва вождя»

— ...шутки! Погоди, ты что такое говоришь?!

— Я не идиот, чтобы так шутить!

— Что еще он сказал?

— Удалили селезенку и почку. Еще повреждена... Ну слово такое, красивое!..

— Плевра?

— Нет. Перегородка, такая...

— Диафрагма?

— Да! И еще это... Черт, да я не понимаю этих слов! Сеня, поезжай сам туда, ладно?

— Я сейчас позвоню в реанимацию.

— Сеня, позвони, пожалуйста! И поезжай, ты там всех знаешь!

— Послушай... А до операции он в сознание не приходил?

— Да какое там!

— Что еще известно?

— Его нашла какая-то тетка. Выгуливала собаку часов в двенадцать, а он лежал за машиной. Он там бог знает сколько пролежал, в снегу.

— Тёма, не части, я тебя прошу! Что еще сказал Шишкин?

— Кто? У тебя что-то трещит в трубке.

— Заведующий реанимацией — что он сказал Никону?

— Сейчас, момент, я записал. Проникающее ранение брюшной полости, ранение селезенки и правой почки.

— Кто его оперировал? Шнапер? Чистов?

— Да не знаю я! Мильтоны вызвали «скорую», его отвезли в Первую градскую. Они записную книжку нашли в куртке. Там на первой странице написано «Наши». И телефоны. Никона телефон. Они ему позвонили ночью, описали его, Никон его и опознал с их слов. Частника поймал чудом, приехал в полтретьего в Первую градскую. Ему операцию делали в это время.

— Вот беда.

— Что? Сеня, громче говори! Я тебя плохо слышу. Я сейчас Гаривасу позвоню.

— Я сам ему позвоню. И тебе позвоню, будь на телефоне.

— Никон сказал, что там плохие дела. Мало шансов.

— Так, сейчас половина восьмого. Позвоню тебе часа через два.

— Ну как так? Посреди Москвы...

* * *

— ...что я скажу. Ты, майор, много воли взял себе. Молчи! Ты крутишь пашни с Каиаху, ты усылаешь дамасскую центурию куда вздумается, ты арестовываешь проповедников по своей прихоти, а после выпускаешь их из-под стражи без соблюдения протокола! Я закрыл глаза на поход Агерма, но Агриппа Руф из Тира направил жалобу в особую канцелярию принцепса. Руф негодует и доносит о самоуправстве Траяна Агерма. Коли ты не знаешь, так я тебе скажу. Принцепсом нынче учреждена особая канцелярия «а libellis». Там разбирают письма о злоупотреблениях магистратов и прокураторов. До меня дошел слух, что в Ерошолоим посланы с инспекцией децумвиры!

— Тебе есть, что им ответить. Это обычная экспедиция. Ты и Вителлий получили известия о лагере zelотов близ Тира. Туда отправлена центурия Агерма.

— Меня не надо учить, что говорить инспекторским. Но им станет известно о дезертире! Это пятнает мою резидентуру, это пятнает меня!

— Поверь, господин мой Светоний, что я легко заморочу головы инспекторским.

— И как же ты это сделаешь? Дезертировал офицер из уроженцев! У него имелись отличия, о нем упоминали в послании к принцепсу!

— Так я разъясню децумвирам, что на деле не было никакого дезертирства! Мы инсценировали предательство, и храбрый офицер нынче входит в доверие к zelотам.

— На все у тебя есть ответ... А ты верно знаешь, что он мертв?

— Скажу тебе прямо, господин мой Светоний: я не уверен в том, что он мертв. Эти олухи в Дамаске поспешно захоронили тело, а скрупулезного опознания не провели. Они, видите ли, нашли жетон. Так что с того? Лицо-то было изуродовано. Он бывал во всяких делах, он мастер на такие трюки. Но вот за что поручусь — он никогда не объявится под прежним именем. Он погиб или предстанет другим

человеком. С другим именем и другой судьбой. И всем инспекторским, что только есть на Палатине, не доказать, что из Ерошолоймской резидентуры дезертировал офицер.

— Как могло случиться такое? Он был отменным офицером!

— Я уже неделю думаю об этом, господин мой Светоний. Вспоминаю наши с ним разговоры, наши дела и споры. Видно, просчитался я, когда...

* * *

«Неужели когда-то, где-то, кому-то это время покажется интересным? Неужели кто-то — с любовью и грустью — станет описывать это время? Вспоминать, исследовать, рисовать — так же, как рисовались дос-пассосовский Нью-Йорк, джойсовский Дублин, как хэмовский Париж двадцатых, как зимний Петербург „Других берегов“? Я же *это* время ненавижу. С той самой поры, когда мне стала понятна категория «мое время». Имя ему — *тоска*. Ненавижу одинаковые панельные города, загаженное Замоскворечье, угрюмо-зеленый школьный коридор, отцовский партстаж — «мы верили, мы трудились, такое время было». Чего только ни вместилось в эту мою ненависть. Штабеля банок с баклажанной икрой в гастрономе на Пятницкой. Тошнотные, брылястые морды генсеков. Безбрежный кумач, что полощется по огромной стране — от края до края. По стране, безудержно счастливой от надоев, выплавок, бамов и вьетнамца с афганцем на орбите. У меня никогда не получалось с юмором относиться к очереди за кроссовками. К Первوماю, двум телеканалам, интернациональному долгу, жидкой сметане и дацзыбао с чугунным названием «Правда». Никакого юмора — одно унижение. Как в той песенке: «И в передышке все забыто — короткий век, угрюмство быта. И все трагичное смешно». *Угрюмство быта*. Умри — лучше не скажешь. Как Борька Полетаев говорил: «Я не знаю, существуют ли параллельные миры. И ДНК принимаю лишь на веру, своими глазами не видел. И черные дыры для меня непостижимы. Но я совершенно точно знаю, что никогда не увижу города Пуэрто-де-ла-Крус, где дома из желтого известняка, где пальмы на набережной зелеными метелками. И где никто не знает, что такое норма отпуска в одни руки». Хотя... Это ведь тоже фактура — «мое время». Обстоятельства действия, так сказать. Всегда, при всем бессердечии нравов, найдется место *интересности*. Всегда, ей-богу! Вот описана, к примеру, Москва шестидесятых и семидесятых. Трифоновым описана. Ох, елки-палки — как описана и живописана! Так, что мороз по

коже от виртуозного пера. Пера, точного и жесткого, как колыт. И мягкого, как беличья кисточка династии Минь или, там, Цинь. А время-то как он преподнес! Запахи времени, вонь его, затхлость. Но — и с дуновениями, с пряностями! Как будто провел ладонью по времени и все ощутил. Все шершавинки, пупырышки и царапины. И ведь это, черт подери, больше чем литература — это гуманитарная микробиология! Так скрупулезно выписать обидки и победы, судьбочки и счастьяца... И все это в контексте и подтексте брутальной державы... Чего это я разошелся? Вова Никоненко называет такие размышления: «нести пургу». Я сейчас несу типичную пургу. Непременно надо в пятницу съездить к Сене. Он расскажет какую-нибудь историю про Талейрана, Уильяма Питта или лорда Дизраэли. Он раскурит ароматную трубку и нальет в хрустальные рюмки армянского коньяка из академического стола заказов. Сень барственно опустится в кожаное кресло, мы выпьем по рюмке, я закурю «Дымок». И жизнь заиграет, и я перестану нести пургу. А может, позвать мужиков к себе? В пятницу? У Тёмки, говорят, новая барышня. Никоненко прооперировал технолога винодельческого совхоза из-под Кутаиси. Значит, будет хорошая выпивка — «Эгриси» или даже «Греми». Да, в пятницу. А то что мы все у Сени да у Сени?..»

Непременно надо собрать мужиков до отъезда. Он улетит двадцать девятого и вновь увидится с мужиками только в будущем году.

Каждый год в конце декабря он привычно ехал в Домодедово («У нас с друзьями есть традиция. Тридцать первого декабря мы ходим в баню»). А билет заказывал в начале месяца. Он молод, у него пока немного крепких привычек, обыкновений и ритуалов, но одно правило соблюдал — Новый год встречал с родителями.

«Салон» собирался по пятницам. Первым пышное слово «салон» произнес Вова Никоненко. Они собрались у Сени отпраздновать кандидатскую Бравика. Приехали из пятидесятой больницы, где проходила защита, торопливо накрыли стол. Настроение царило приподнятое. Вот оно, началось — пошли кандидатские, а там и докторские пойдут, взрослеем-мужаем! Бравик защитился прекрасно, вел себя на защите непринужденно. Только чаще нужного проводил ладонью по редким волосам (у Бравика намечалась лысина, но это, как ни странно, ему шло, завершало солидный образ). Академик Кан после защиты, пожимая Бравику руку, сказал: «Для работы такого уровня вы, Григорий Израилевич, не в обиду будь сказано, очень молоды. Тем отраднее видеть... Прекрасно начинаете».

Тёма Белов, хихикая, прошептал на ухо диссертанту:

— Опосля зазвал в свою вотчину и сказал при всем окружении...

Итак, они вернулись с защиты, открыли шпроты, нажарили картошки. Порезали селедку, вывалили в пиалы лечо, достали из холодильника «Байкал» и «Дюшес». Сеня величественно поставил на стол три бутылки «Ахтамара», и все заплодировали. Тёма заломил бровь и сказал из «Хождения по мукам» (там красноармеец так говорил Родину):

— То-то оно и видно, милоч, что ты из богатеньких.

И еще так получилось, что все оделись неповседневно. Несвойственным образом. Например, почти все оказались при галстуках. А Никоненко, Сергеев и диссертант надели костюмы.

Никон аккуратно разлил по рюмкам коньяк, выпрямился, посмотрел на мужиков и обнаружил, что тут чуть ли не светский прием. Громила недоуменно оглядел друзей и пробормотал:

— Это... Короче... Ничо себе! Салон!

Все расхохотались. И верно, странно было видеть мужиков при таком параде. А после, уже не сговариваясь, приезжали к Сене в брюках, наглаженных рубашках и в галстуках. И, ей-богу, в этом что-то было. Еще не стиль, но уже некая *манера*.

— Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! — веселился Тёма. — Ответим вселенскому хаму аккуратным внешним видом!

Он тогда сказал Тёме:

— Знаешь, что мне особенно нравится в «Семнадцати мгновениях»? Как он картошку печет в сорочке и пуловере. И листья сгребает в отглаженных брюках.

А Никон как-то сказал за столом Генке Сергееву:

— Гена, *будь добр*, подай, пожалуйста, зажигалку.

Надо знать Никона, чтобы прочувствовать элегантность этого «*будь добр*». Да нет же, громила совершенно нормальный человек. Вежливый, негромкий, вечно старушек подсаживает в троллейбусы. Он внешне впечатляет, это да. Плечи, ручищи, шея, как секвойя, хулиганье за версту обходит, милиционеры обращаются исключительно на вы. Но чтобы так непринужденно, за столом, другу: «*Будь добр, подай, пожалуйста!*»!

Гена тогда принес к Сене бутылку виски «Белая лошадь». Эта коняга Генке обошлась рублей в сорок. На Калининском продавался «Камю» по шестьдесят и «Белая лошадь». Прежде они виски не пили, был иной стандарт роскоши — армянский коньяк. На «салонах» пили «Ахтамар». Но и «Арагви» по четырнадцать был очень даже прекрасен!

(Великолепно, кстати, шла и «Пшеничная», и «Московская» пролетала нормально, да и «Русская», в общем, не застревала.) Короче говоря, они несколько месяцев играли в респектабельных джентльменов посреди развитого социализма. А потом Вова Гаривас прикрыл этот цирлих-манирлих, когда явился к Сене с бабочкой и в цилиндре. Настоящий цилиндр — где взял? Одному богу известно.

Посмеялись и вновь стали приходить в джинсах.

Почти всегда встречались у Сени Пряжникова на Метростроевской. Летом съезжались на Сенину дачу в Перхушково. А в прочие времена года — на Метростроевскую. Дядя Петя, Сенин отец, эти встречи одобрял. А сам Сеня легко вошел в роль хозяина салона.

— Уютнее жить, благородные доны, когда мы собираемся вот так, ввечеру, — бархатно говорил Сеня. — Выпиваем добрый коньяк и говорим весело и неспешно. Так мы отгораживаемся от грубых реалий и тусклых лет.

— Слушай, Сеня, — сказал он однажды. — Что за представление мы тут устраиваем? Три мушкетера, дьявол раздери, три товарища. Девять дней одного года, семь самураев, четыре танкиста и собака. Мы же, вроде, взрослые люди? Ты уверен, что это не театральщина?

Сеня усмехнулся и ответил:

— Славные люди собираются, Мишка. При чем тут, скажи, театральщина?

Сеня взял с кресла семиструнную гитару и пропел:

Надоело говорить и спорить,
И любить усталые глаза.
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса.

А он тогда отреагировал быстро (у них принято отвечать в *тон*, не задерживаясь), он прищурился и продекламировал:

Романтика, романтика небесных колеров.
Нехитрая грамматика небитых школяров.

Он уже и представить не мог, что когда-то у него не было этой компании.

«— Никон пришел?.. Никон, слушай, это — что-то! Он опять поставил мне в этом месяце десять дежурств!..

— Генка, чисти картошку, твоя очередь!

— ...даю на три дня, и ни минуты больше! Мы с Ольгой вчера читали, ржали до судорог! Мне больше всего понравилось про то, как они Ломоносова ваяли. Только не

затевай ксерить, я уже договорился, отксерят. Чудо, а не писатель! Он в Таллине жил, сейчас в Нью-Йорке...

— Сень, а где мои тапки?.. А при чем тут Берг? Берг, е-мое, ну сколько раз я просил!

— ...жрать хочу. Дайте тушенки!

— Только погаси, пожалуйста, папиросу, и не надо так размахивать руками. Что именно он тебе не дает оперировать? Простатэктомию? И правильно, что не дает.

— Сеня, я сосну часика два. Нет уж, как борщ поспеет, так ты меня разбуди...

— Да пошел ты!

— Да пошел ты сам!

— Тихо! Тихо, мужики! Давайте думать, что Бравику подарим. Помните — как в том анекдоте: «Книга у него уже есть». Думайте!

— Какой Алан Силлитой? Это детский сад...

— Вот это вот место, Гена. Это древняя вещь — «Whiter shade of pale», шестьдесят седьмой год.

— Гена, как там картошка?

— ...офигительная девчонка! Трахаться хочет — как Филипок учиться...

— За чужую печаль и за чье-то незваное детство нам воздастся мечом и огнем, и позором вранья...

— Гена, ты посолил? Так посоли же! И укропчику туда, укропчику!»

Он уже не представлял своей жизни без этих вечеров, без этих голосов.

Экселенц третий год отпускал его на «рождественские каникулы». Осталось собрать мужиков перед отъездом. И еще надо было прекращать эти страдания с йодированием. Нерационально получалось. Громоздко, грязно, вонюче, и выход получался невысокий. А главное — все это было тривиально.

— Миха, надо что-то выдумать, — сказал Димон три дня тому назад. — Что с фильтром? Порешай эту проблему, и все пойдет.

Он ответил:

— Ну да. Возьми, значит, и «порешай». Вынь да положь. Мне грифель нужен. Много грифеля. Анод должен быть полым, ясно?

— Зачем полым? — спросил Димон. — Грифель, ну, это понятно. А почему полым?

— А потому полым, — сказал он, — что надо его охлаждать изнутри. Анод будет нагреваться. Раствор нагреется, и поры в фильтре забьются.

— Понимаю, — пробормотал Димон. — Верно, нужно охлаждать. А чем?

— Да водой же, чучело! — сказал он. — В аноде должна циркулировать вода. Теперь про фильтр. Надо сделать большой стакан из необожженного фарфора, поставить этот стакан внутрь большой емкости. А анод — внутрь стакана. И все это дело заливается электролитом. Фарфоровый стакан станет фильтром, ясно? Готовая посуда не пойдет. Она из обожженного фарфора, а там поры заплавлены.

Тут Димон вспомнил, что одна из его барышень закончила Строгановку и теперь работает в Гжели.

— Фарфор будет, — сказал он. — Фарфор не проблема. И грифель не проблема — у меня батареи есть. Армейские, купил у одного по случаю. Ну ладно, давай так. Ты займись анодом, а на мне фарфор.

И они сели ломать разъемы. Паскудное это было занятие — ломать разъемы. Сидели, крошили прочный эбонит кусачками, царапали руки и матерились. Скусывать с плат легче, но в разъемах намного больше материала. Пока ломали разъемы, Димон рассказывал про батареи. А он вполуха слушал и думал, что систему охлаждения можно смастерить из водоструйного насоса. Насос в прошлом году списали, но поломка в нем пустячная, поправимое дело. А полость для охлаждения в грифеле можно высверлить электродрелью.

— Дима, будь осторожнее, — напомнил он. — Максимальная осторожность!

— Мы, кажется, договорились обо всем? — благодушно сказал Димон. — Ни о чем не беспокойся. Все будет чики-чики.

Однако Дорохов волновался. Он волновался всякий раз, когда думал о том, что происходит за рамками его задачи. Рассчитать, сколько нужно едкого натра, придумать, как лучше всего гасить «лисий хвост», — это было внутри рамок. Аффинаж, посуда под кислоты, сами кислоты и скупка проявителя (на реакции уходило много щелочи, они в огромных объемах покупали проявитель в «Кинолюбителе» на Соколе, в пакетиках по шесть копеек) — это было внутри рамок. Вне рамок был поиск покупателей, передача продукта, получение денег, и он не представлял, как все будет. Только деньги представлял — крепкие пачки красных десятков, заклеенные крест-накрест бумажными трехполосными лентами, плотно уложенные в «дипломате» с никелированными замками.

Зазвонил телефон.

— Да...

— День добрый, — сказали из трубки. — А Александра Яковлевича можно услышать?

— Александр Яковлевич не по этому номеру, — ответил он.

Экселенц в кабинете не бывал подолгу. И его разыскивали по всем телефонам лаборатории.

— А у него не отвечает.

— Тогда не знаю. Что-нибудь передать?

— Это Гольдфарб беспокоит.

Ого! Он знал, кто такой Александр Давидович Гольдфарб. Старинный друг экселенца, известный диссидент и завлаб. Только в отличие от их «лаб» на Варшавке, та «лаб» находилась в Колумбийском университете, государство U.S.A., город N.Y., штат одноименный.

— Это Дорохов Михаил, — сказал он. — Александра Яковлевича сейчас нет. Кажется, он у Дебабова. Я передам, что вы звонили.

— Передайте, пожалуйста, Миша, будьте так любезны, — сказал Гольдфарб. — А ваши дела как?

Надо же, Гольдфарб его помнил. Они виделись мельком в кабинете у экселенца. Экселенц проворчал, кивнув на любимчика: «Полюбуйся, Алик, — еще один талантливый бездельник».

«Талантливый бездельник это хороший сотрудник, которого плохой руководитель не загрузил работой, — сказал Гольдфарб, потягивая чай в кресле экселенца. — Саша, ты дай мне парня на полгода. Верну шелковым, и с готовой докторской. Ей-богу».

— Спасибо, Александр Давидович, хороши мои дела, — ответил Дорохов. — Все у меня в порядке.

— Я уж больше не стану звонить, Миша, у нас тут первый час. Лягу спать, поскольку устал от трудов. Вы, Миша, если не затруднит, передайте, пожалуйста, руководству, что я руководству завтра позвоню в это же время. Хорошо? Как ваша докторская? Зреет?

Дорохов польщенно засопел.

— Не будем спешить, — сказал Дорохов степенно. — Научный труд надо выстрадать. Им надо пропотеть. Поспешность неуместна. И не факт, что моя докторская нужна человечеству. Как говорит экселенц: кандидатские диссертации тем выгодно отличаются от докторских, что пишутся докторами. В то время как докторские пишутся кандидатами.

— Ну-ну, — сказал Гольдфарб. — Вы чем сейчас занимаетесь?

— Обращенно-фазовой хроматографией. Панкреатической эрэнказой. Собственно, чем занимался, тем и занимаюсь.

— Да-да, я помню. Я почему спросил — у нас с вашим шефом есть кое-какие общие планы. Впрочем, он сам вам расскажет. До свидания, Миша. Рад был вас услышать.

— Всего доброго, Александр Давидович, — Дорохов положил трубку.

Короткий разговор с Америкой Дорохова немного взволновал. Гольдфарб сказал: «кое-какие общие планы». Дорохов в последнее время замечал, что шеф чаще прежнего разговаривает с Гольдфарбом по телефону, посылает ему статьи. Лаборатория Гольдфарба занималась, в числе прочего полезного, жидкостной хроматографией пептидов. Точек соприкосновения у старых приятелей имелось более чем достаточно. Экселенц же в последнее время выглядел оживленно и даже мечтательно.

Две недели тому назад Дорохов напрямую спросил его про статьи и про телефонные звонки. Сказал, что, как он замечает, беседы шефа с Гольдфарбом перестали носить частный характер. Экселенц в ответ обаятельно улыбнулся.

Дорохов однажды пошутил: «У вас, Алексан Яклич, внутри есть специальный приборчик — „обаятель“. Вы его периодически включаете в различных режимах мощности».

Времена менялись не на шутку. Дорохову было известно, что один парень из Молгенетики уехал в июле «на стажировку». Поговаривали, что уехал запросто, безо всякой райкомовской бодяги. Отправился на стажировку в State New York University, как будто на преддипломную практику на фармкомбинат в Олайне Латвийской ССР или на конференцию в Варне. И когда Дорохов пил чай с Гольдфарбом и экселенцем, тогда, весной — он внимательно прислушивался к разговору двух насмешливых мэтров.

«Три китайца, индус, два пуэрториканца. Паренек из Миннесоты и девочка из Нью-Джерси, кореянка, Джук Ян. Такие пироги, Саша. Нашу науку делают иностранцы. Это, старик, общепризнанный факт».

Дорохов все понял. Когда Гольдфарб говорил «наша наука», он имел в виду науку американскую. И следовало из тона Гольдфарба, что советские ученые тоже имеют полное право делать американскую науку. И что в ближайшее время советские ученые смогут заняться этим так же легко и просто, как пуэрториканцы с китайцами.

Слышать это было непривычно.

Не верилось, что все это по-настоящему. Что очередь за «Московскими новостями» — на самом деле. Да и было уже что-то подобное. Пятьдесят шестой год, доклад Хрущева, стихи на «Маяковке», всеобщая радостно-недоверчивая оторопь, и щенки — пылкие, уповавшие на «истинный

марксизм», и сбивчиво лепетавшие о «ленинских нормах». Однако в пятьдесят шестом танки шли по Будапештским мостам.

Не верилось, что все кончается. Просто протухла советская эпоха и стала рассасываться. И Гольдфарб с экселенцем на полном серьезе разговаривают о том, что для экселенца есть хорошее место в Сан-Диего. Елки зеленые — *хорошее место!* Это все равно что: «Тут есть одна неплохая планетка рядом с Проксимой Центавра. Не Волосы Вероники, конечно, туда не пробиться, но, однако, и не Волопас, с его дурным климатом и вредным для здоровья жестким излучением». Гольдфарб говорил: «Сразу, Саша, начинай присматривать ребят. Диплом биофака это, как у нас говорят, брэнд. Учи уму-разуму талантливых бездельников, пусть статьи подбирают, резюме пишут, английский подтягивают».

И теперь, после приезда Гольдфарба (запросто, кстати, приехал «отказник», почетный клиент КГБ и сподвижник академика Сахарова — тоже примета времени!), Дорохов совершенно ясно понимал: экселенц метит в Штаты. И, допуская эту вероятность, ощущал нервозность. Не от того, разумеется, была эта нервозность, что экселенц бросит его с недописанной докторской. Это исключено. А оттого, что экселенц полушутя может сказать однажды, что Дорохову пора собирать чемодан. Поскольку Дорохов с экселенцем завтра отправляются в Нью-Йорк, в Калифорнию, на Альдебаран.

«Сразу, Саша, начинай присматривать ребят».

«Мы же не хуже других. Да лучше мы, чего там».

Дорохов сел в тонконогое креслице, поставил на колено чашку Петри, достал из нагрудного кармана синего халата надорванную пачку «Дымка» и закурил.

Вот странное дело: позвонил из зазеркалья Гольдфарб, нездешний уже человек, весело потрепался с Дороховым — и Дорохов начал фантазировать о том, как они с экселенцем *отринут прах*.

«Я давно уже ненавижу все это. Субботники, очереди... Ложь официальной истории... Господи, ну это же все знают, каждый, кто читать и думать умеет — знает. Ненавижу все эту мерзость, вранье... Убивают. Елки зеленые, они же убивают все время. Вся новейшая история — одно сплошное убийство. Все их днепрогэсы на убийстве, магнитки, великие победы — все на костях! Меня трясет, когда я их рожи брылястые вижу. Андропов, говорят, стихи писал и в винах разбирался. А Гитлер пейзажи рисовал — тоже художественная натура... Стихи он писал, гадина, морда холеная, глаза оловянные. А Сашку Лифшица

превратили в инвалида. За что? Еврейский язык преподавал. Ребят готовил к отъезду. Сунули парня в Сербского. Сульфазин-аминазин, вязки... Ривка мужа не узнала, когда ее к нему пустили. Какие, к черту, стихи, какие вина?! Я к ней приехал, сидим с ней на диване, я ее по голове глажу... Она подстриглась, как мальчишка, волосы короткие, мягкие. Я ее по голове глажу, ересь какую-то несу: мол, Ривка, все образуется, скинемся с ребятами, адвоката найдем... Мы с ней на втором курсе любовь крутили, она меня таким штучкам научила, я только диву давался — откуда наша ветхозаветная Ривка так умеет? А потом у них с Сашкой что-то... щелкнуло. Совпало. И все сразу поняли, и я понял, и Кротов, и Беккер — там больше не надо мельтешить. И какая бы наша Ривка вкусная ни была, и как бы славно она прежде ни давала — туда больше лезть не надо. Там — *щелк*. Там люди слиплись, как две ириски. На свадьбу только самых своих позвали, человек, может быть, десять, включая родных. Шатер такой, на палочках, над ними держали... Я, конечно, веселился, я же не думал, что у Ривки это искренне (нет, не с Сашкой, упаси бог, — я имею в виду это мракобесие «справа налево»). А потом как-то заехал к ним вечером, сидели на кухне, я привез «Ахтамар». Сашкина вера выпивку поощряет. Кабы не это, так совсем грустно было бы инвалидам пятой группы. У советского еврея жизнь не сахар, осложнена многими обстоятельствами. А ежели и бухн'уть нельзя — хоть вешайся. Но им можно. А иной раз — так просто *предписано*. Так велено набираться, чтобы, как это Сашка говорит, «нельзя было отличить Мордехая от Амана». Короче, сидим на кухне, накатили по первой, по второй. Сидим, как люди, Ривка палтуса пожарила. Я встал, сыра подрезать. Беру ножик из серванта — ножик, как ножик, ручка зеленая, полупрозрачная. Ривка как вскинется! Миша, говорит, извини, это *мясной* нож. У нее такое лицо было — как будто мир рухнет, если я этим магическим ножиком из «Промтоваров», нарежу нормальный пошехонский сыр.

Им давно надо было ехать. Их бы выпустили, за Сашкой тогда ничего не было. Никакого «распространения», никакого «хранения». Они такие «на выезд», что дальше некуда. Что Сашкин шнобель, что Ривкины очи *суламифины*. «Let my people go». Но Сашка заявил (Ривка мне все рассказала, когда я ее по голове гладил): «Я обязан помочь. Мне помогли — теперь я обязан помочь». Собрал группу молодых ребят, учил языку, читал им каждую неделю по главе ихнего катехизиса. Ривка этот сумасшедший язык выучила, за полгода выучила. Это ведь Сашка меня заразил Сирийской провинцией. Я как раз тогда прикидывал — что за

время выбрать для своего парня. Собирался уже определить его в Реформацию, в сподвижники к Мюнстеру. Мне, собственно, все равно было, какую эпоху сделать задником. Одно требовалось — кризис общественной морали. Но однажды я послушал Сашку и понял, что тот овечий выпас у черта на краю, те глинобитные городки и упертый, воинственный народец — это то, что мне надо. То, что началось в Сирийской провинции в правление Тиберия, поучительнее всякой Реформации. Реформация, елки зеленые, рядом не стояла. Собственно, она стала малозначащей производной, уж простите мне это примитивное понимание теологии. Человеческая мораль была впервые внятно озвучена там, в пыльных городках Самарии и Десятиградия, в кедровых рощах Галилеи, на рынках Кесарии и Сихема, на овечьих выпасах Идумеи! Там, выражаясь выпренно, зародились *Большая Мораль* и *Большая Ложь*. Но чего у Сашки не отнять, так это следования фактам. Это, черт побери, марксистско-диалектическая закваска! Тора — Торой, а история — историей. Сашка увидел, что я *интересуюсь*, и тут же дал мне Юста Тивериадского. А потом еще дал на три дня Ренана. Где взял, а? Настоящий Ренан. *Брокгаузь и Ефронъ, 1912 г. Санктъ-Петербургъ*. Не хило, да? И все. Я заболел тем временем, и все в моей голове встало на места. И я сразу понял, с чего начнет герой и кем он станет...

Сашка с Ривкой в синагогу ходили, на Архипова. Она насквозь гэбэшная, это любой младенец знает. Там все сто раз сфотографированы. В мае Сашку забрали. Пригласили «поговорить». Один раз, другой. На третий раз он у них там остался. Это ладно. Не он первый, не он последний. Но потом он, видно, уперся, и они его в Серпы сунули. А Серпы это жуткое учреждение. Про Йозефа Менгеле знает весь мир. А вот скажите: знает весь мир про профессора Снежневского? Сеня рассказывал, что советские психиатры в мировом медицинском сообществе — парии. Что советские психиатры для западных врачей — гестаповцы. И так получилось еще, что за месяц до того, как они Сашку забрали, Сеня мне дал «Возвращается ветер». Господи, я прочитал, и у меня руки тряслись. Вроде, все знаю, и вообще, чем можно человека удивить после «Архипелага»? А вот прочитал эту книгу, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана» — колотило от ненависти. Звери. Животные. И это же как пророчество — Сеня дает почитать «Возвращается ветер», а через месяц Сашку Лифшица сажают в Серпы. Не знаю, что эти мрази там с ним творили. Просто я ждал, что Сашка окажется — на свидании с Ривкой

ли, на суде ли, ну, я не знаю... на лагерной фотографии — измученным, исхудавшим, запуганным. А все же получилось не так. Ривка слезами захлебывалась, ее головенка под моей ладонью тряслась. «Миша! Мишенька! Что же это за зверство, Мишенька?! Он же овощ, он меня узнал с трудом. Что они там делают с ним?! У него губа отвисла, и слюни текут... Гады! Гады! Фашисты, нелюди». Не понадобился адвокат. Сашку вдруг выпустили. Да и не выпустили, а буквально выкинули. И через два месяца они с Ривкой уехали. Я бы проводил, не забоялся. Ривка сама сказала: «Мишенька, не надо. Тебе тут жить. Не светись в аэропорту. Неизвестно, как тут еще все обернется. Сахарова выпустили из Горького, а Марченко так и умер в тюрьме. Нас родители проводят. Они тоже собираются. Мы приедем, устроимся, Сашу в Стране подлечат — и тогда родители подтянутся».

Да чего там. Они сейчас всю эту фигню затеяли, про Сталина пишут в газетах, про поворот рек. А я хочу знать: палачей судить будут? Лицемерие одно. Вранье. И безнадежно это, безнадежно. И всегда нищета будет, и за всем надо в очередях стоять, и если даже денег нароешь — тратить придется украдкой...»

Дорохов докурил и подошел к окну. По Варшавке проезжали машины, полз желтый «Икарус» с гармошкой посередине. На площадке одиноко стояла машина экселенца.

«Он в институте, — подумал Дорохов. — Надо показать ему форезы. Он вчера уже скандалил из-за форезов, а сегодня просто убьет».

Дорохов хотел было пойти в комнату Кострова — он там вчера вечером оставил форезы, — но опять сел в жесткое, поскрипывающее кресло.

«И вот получается, что можно от всего этого убежать. А экселенц... Он обаяшка, легкий циник, *успешный*. Сорок лет, доктор наук, беспартийный, еврей. В контексте эпохи такое словосочетание — *«успешный человек, докторнаук, беспартийный, еврей — и все это в сорок лет»* — чистейшей воды оксюморон! Катахреза. Сухая вода, холодный огонь, одна из праворадикальных фракций Верховного Совета СССР. Он приедет в Колумбийский университет со своими работами, а работы у него высочайшего уровня. И будет у экселенца человеческая жизнь. Наука, идеологически не подкрашенная, любые реактивы по каталогам, любая аппаратура — только заяви. А парткомов, субботников, *«...а потом, досыпая, мыедем в метро, в электричках, трамваях, автобусе, и орут, выворачиваянутро, рупора о победах и доблести...»* — вот этого больше не будет. А если говорить прямо: кого

экселенц потянул бы за собой? Наше молекулярно-биологическое дело — дело коллективное. Понадобятся верные помощники. Конечно, Серж. И Машка Орлова... Еще Лара Изотова и этот, молоденький... Костя Конин. Продуктивный парень. Ну и я. Да собственно, в первую очередь — я. Хочу я паковать чемодан? Или вот так. Спрявим. Если проще: на что я надеюсь? Нет, я не о величии, не о жизненном успехе. Я о том, чего мне хочется больше всего на свете. Могу я это «больше всего на свете» упаковать в чемодан? Наша с Димоном алхимия — «джентльмен в поисках десятки». Персональное сопротивление советской скудости. Кто я на сегодняшний день? Умеренно способный молодой человек, племянник бывшей жены экселенца. Тетя Таня осталась ему другом, он относится к ней с теплотой, и часть теплоты распространяется на меня. Я нормальный выкормыш, сподвижник и наперсник. Я *любимый еврей* экселенца. В этой констатации, как сказал бы сам экселенц, «ощущается явный привкус парадокса»: из нас двоих еврей вовсе не я, а определенно он. В прошлом году экселенц спросил: слушай, а чем ты вообще занимаешься? Я опешил — как чем, говорю? Секвенированием триптических пептидов, чем же еще мне заниматься? Это понятно, кивнул он, это на работе. А по выходным? Татьяна говорила, что ты в детстве стихи писал... Я вот вчера вечером подумал — а что там мой Мишка подделывает?

«Мой Мишка». Ну а что? Да, мне приятно, что я «его Мишка». Он яркий человек, незаурядный. Серж как-то хмыкнул: ты, мол, Миха, типичный адепт, ты при Саше Риснере на все сто процентов.

Я люблю смотреть, как он заваривает кофе. Мне вообще нравится смотреть, как он что-нибудь делает руками. Из него получился бы прекрасный ювелир. Или зубной техник. Он любой предмет берет в руки быстро и бережно. И видно, что предмету хорошо в его руках. У него на столе стоит пишущая машинка «Оливетти». Когда он на ней печатает... Он очень интересно выглядит, когда печатает. Нет, ей-богу, можно сказать, что все это своеобразная поэтизация экселенца. Но он — штука. Он *особенный*. Однажды я увидел, как он печатает на машинке, и сразу вспомнил тот великий фильм. Сенин батя купил в спецмагазине видеомагнитофон. Это же чудеснейшая штука — видеомагнитофон! Заполучить домой мировое кино — вот что такое видеомагнитофон! Сейчас их полно. У Ирки Шмелевой есть видеомагнитофон, у экселенца, естественно, есть. Смотрели с ним летом фильм Боба Фосса «Весь этот джаз». А каких-то пять лет назад иметь дома

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru